

МИШКИНА ИМПЕРИЯ



ВИКТОР ТУМАНОВ

Виктор Туманов

Мишкина Империя

«Автор»

2026

Туманов В.

Мишкина Империя / В. Туманов — «Автор», 2026

Весна 1892 года. Сорокапятилетний генпродюсер исторической стратегии приходит в себя в теле тринадцатилетнего Михаила Романова — и знает судьбу своей новой семьи. Но Миша — всего лишь младший сын государя. Он не может менять законы, перестраивать министерства и раздавать приказы взрослым дядям. Зато может выпросить у отца один уезд для безобидного эксперимента. Если опыт окажется удачным, его можно повторить. Если повторить сотни раз — превратить в систему. А система однажды станет властью. Отдельного человека познанием не спасти. Чтобы спасти семью, Мише придётся изменить государство.

© Туманов В., 2026

© Автор, 2026

Виктор Туманов

Мишкина Империя

Глава 1

Ничего не болело.

Он понял это раньше, чем открыл глаза, и несколько секунд просто лежал, прислушиваясь к себе. Сорок пять лет утро начиналось с переговоров: сначала повернуться на бок, потом спустить ноги, посидеть, подождать, пока поясица согласится на продолжение дня. Сейчас переговоров не было. Спина молчала. Колено, разбитое двадцать лет назад на льду у собственного подъезда, молчало тоже.

Последнее, что он помнил, — светящуюся кривую на большом экране и собственный голос, объясняющий двенадцати уставшим людям, что эта цифра врёт.

Потом ничего.

— Четверть десятого, ваше высочество.

Голос он знал. В этом и была беда.

Он знал этот голос, знал, что сейчас скрипнет вторая створка, и знал, что скрипит она оттого, что шпингалет ставили криво ещё при прежнем камердинере, и что жаловаться бесполезно, потому что рама старая и её обещали переменить третью зиму подряд.

Створка скрипнула.

Свет упал на стену, и стена оказалась не той. Обои в мелкую полоску, тёмное дерево, низкий потолок, до которого взрослый человек достал бы рукой. Пахло воском, углём и немного лошадью — запах пришёл откуда-то снизу, со двора, вместе с холодом.

— Георгий Александрович изволили подняться в восьмом часу, — сказал голос.

В этом сообщении помещались упрёк, поднос с водой и напоминание, что сегодня особенный день.

Он сел.

Пол был холодный. Ковёр кончался в двух вершках от кровати, и он знал, что кончается именно там, потому что тысячу раз промахивался мимо него спросонья. Знание пришло само и разрешения не спросило.

Он посмотрел на свои руки.

Руки были детские. Узкие, с тонкими запястьями, и ногти на левой обкусаны почти до мяса. У него никогда не было такой привычки. Он помнил про неё всё: как выговаривала мать, как мазали чем-то горьким, как не помогло и как потом просто перестали замечать.

Три вещи. Он всегда начинал с трёх проверяемых вещей, когда всё летело.

Первое: тело чужое, детское, здоровое.

Второе: комната незнакомая, но известная ему до последнего шпингалета.

Третье: человек за спиной знает его и обращается «ваше высочество».

Он повернул голову.

Прохор Саввич стоял вполоборота, с полотенцем на локте, и на постель не смотрел. Он никогда не смотрел на хозяина, пока хозяин не встал. Лет за пятьдесят, широкий, аккуратный до неприличия, с тем выражением лица, которое одинаково годится для похорон и для именин.

— Дурно спали, — сказал Прохор.

Это не был вопрос, и отвечать не требовалось.

Он подошёл, поставил стакан на столик, передвинул его на полвершка левее и отступил. Вода в стакане была не вчерашняя. Значит, он уже приходил сюда раньше, тихо, и уходил.

— Который час, вы сказали?

— Четверть десятого. Понедельник.

Понедельник. Хорошо. Понедельник — это уже что-то.

— А число?

Прохор ответил без всякой паузы, и в этом была его служба: он двадцать раз в день отвечал на вопросы, которые хозяин мог бы решить и сам, и ни разу за пятнадцать лет не дал понять, что заметил.

— Двадцать седьмое апреля.

Про год спрашивать было нельзя.

Он встал. Встал легко, без опоры на руку, и от этой лёгкости стало нехорошо — тело сделало движение быстрее, чем он успел его задумать. Он был ниже, чем должен был быть, на две головы ниже. Стол стоял высоко. Ручка двери приходилась ему на уровень груди.

— Прохор Саввич.

— Слушаю.

— Кто сегодня к завтраку?

Камердинер подал сорочку так, что рука сама нашла рукав, и рука её нашла прежде, чем он сообразил, куда её девать.

— Все, ваше высочество. Государь, государыня, наследник цесаревич, Ксения Александровна, Ольга Александровна. И Георгий Александрович. — Он выдержал ровно ту паузу, которая означала, что хозяин мог бы и сам вспомнить. — По случаю дня рождения.

Государь.

Он стоял в чужой сорочке, в комнате с низким потолком, и в голове очень медленно, как вода в подвал, входила мысль, которую он до сих пор держал в стороне.

Двадцать седьмое апреля. Георгий. Государь.

Он потянулся за сюртуком, висевшим ближе.

Между его пальцами и сукном оказалась рука Прохора. Движение вышло такое короткое, что сошло бы за случайность: камердинер снял с плеча несуществующую нитку, отвёл этот сюртук в сторону и подал другой, тёмный, в котором сегодня полагалось идти в общую столовую.

— Сквозняк из угловой, — сказал он куда-то в сторону окна. — Прикажете топить?

— Не надо.

— Слушаю.

Больше он ничего не сказал.

Зеркало висело между окнами, в простенке, и он подошёл к нему сам, потому что оттягивать было уже глупо.

Мальчик в зеркале был худой, светлоглазый, с оттопыренными ушами и коротко стриженной головой. Тринадцать лет, может, чуть меньше на вид. Совершенно обыкновенный мальчик, каких сотня в любой гимназии.

Он видел это лицо раньше.

Он видел его на фотографии, и под фотографией стояли две даты, и вторая была скверная.

— Государыня велели напомнить, что ждут, — сказал Прохор от двери.

* * *

Дворец был громадный, а жили в нём тесно.

Он шёл по коридору Арсенального каре, где потолки давили на макушку, а комнаты шли одна за другой, как каюты, и никак не мог совместить это с тем, что снаружи стояло здание в шестьсот комнат. Тут была лестница в антресоли, там кладовая, тут дверь, за которой кто-то возился с вёдрами. Пахло воском и мокрым сукном. Из окон тянуло апрелем — не тем апрелем, в котором цветут вишни, а северным, с ледяной коркой в тени и грязью на дорожках.

Он шёл и считал.

Считать было легче, чем думать.

Ему тринадцать. Тело двигалось само, ноги знали, где ступенька, плечо знало, что в этом месте нужно чуть повернуться, иначе заденешь угол. Память носителя не открывалась, как справочник. Она всплывала. Он не помнил ни одной даты из жизни Михаила Александровича, зато точно знал, что в третьей от конца комнате живёт англичанка, что её не любят и что за глаза её зовут нехорошо.

На столике у поворота лежала почта. Свежие газеты, ещё не разнесённые, стопкой, корешками наружу.

Он остановился, будто поправляя манжету.

«Правительственный вестник». Дата под названием.

Тысяча восемьсот девяносто второй.

Он смотрел на эти цифры дольше, чем следовало, и в голове тем временем происходила арифметика, которую он не заказывал и остановить не мог.

Апрель девяносто второго. Отец умер в октябре девяносто четвёртого, в Ливадии, двадцатого числа по старому стилю.

Два года и почти шесть месяцев.

Он сосчитал это меньше чем за секунду и сам себе стал противен.

— Стоишь тут.

Он обернулся.

Георгий шёл от лестницы — высокий, тонкий, в домашнем, с руками в карманах и с тем ленивым видом, который бывает у людей, точно знающих, что опаздывать сегодня будут не они.

— Стою, — сказал он.

— Мама уже дважды посылала. — Георгий остановился рядом и посмотрел на газеты. — Ты что, читаешь?

— Смотрю.

— На «Вестник»? Мишка, там же ничего нет. Там никогда ничего нет, в этом и смысл.

Он засмеялся своей шутке и на середине смеха закашлялся.

Кашель был короткий, сухой, в кулак, и Георгий отвернул лицо, переждал его и сразу же заговорил дальше, будто ничего не случилось. Так делают люди, которые кашляют давно и научились укладывать это в разговор, как запятую.

— Мне сегодня двадцать один, — сказал он. — Знаешь, что это значит?

— Что?

— Что я старик и мне больше ничего не будет за то, что я сделаю. — Он подумал. — Оказалось, всё равно будет. Мама уже сказала.

Двадцать один.

Абастуман. Горы, воздух, доктора, письма, ещё письма. Одна тысяча восемьсот девяносто девятый год, велосипед на горной дороге, кровь.

Двадцать восемь лет.

Семь лет.

Он стоял в коридоре и смотрел на человека, который шутил, стоя от него в двух шагах, и понимал, что второй срок ближе первого — не по числам, а по тому, как быстро он подходил.

— Ты чего белый? — спросил Георгий.

— Не спал.

— От чего?

— Так.

Георгий посмотрел на него внимательнее, чем требовала эта чепуха. У него было лицо человека, который читает быстро и не считает нужным показывать, что прочёл.

— Ну, «так», — согласился он и не стал спрашивать дальше. — Пойдём. Я в четверг уезжаю, пусть хоть за столом на меня посмотрят.

Они пошли.

— В четверг? — переспросил он.

— В четверг. Мама будет говорить, что рано, папа будет говорить, что нечего расслаиваться, а доктор будет говорить, что ему всё равно, лишь бы я не ел за ужином того, что люблю.

— Георгий сунул руки глубже в карманы. — И все трое правы, вот что обидно.

* * *

Отец занимал не стул, а угол комнаты.

Рост он знал по книгам — знал цифру, помнил, что она большая. Цифра ничего не объясняла. Александр Александрович сидел, наклонившись над тарелкой, и от него шло тепло, как от печки, а когда он двигал локтем, двигался весь стол.

Столовая была невелика и обжита до последнего угла: неудобный буфет, который явно жалели выбросить, зелёная скатерть, окно во двор, за окном мокрая крыша конюшни. Ни одного лакея, кроме того, что стоял у двери. У Романовых, оказывается, за завтраком не подавали, а передавали.

— Каша стынет, — сказал отец, не поднимая головы.

Он говорил не ему. Он говорил каше.

Рядом с прибором отца лежала бумага. Сложенная вдвое, казённая, с широким полем. Он её не читал и не убирал. Он её сторожил.

— Миша, ты последний, — сказала Ксения. — Как всегда.

— Он газету читал, — сообщил Георгий, садясь. — В коридоре. Стоя.

— Господи, — сказала Ксения. — Началось.

— Оставьте его, — сказала мама.

Мария Фёдоровна разливала чай и вела стол так, что никто за столом не замечал, что его ведут. Маленькая, быстрая, с очень прямой спиной. Она поставила перед ним чашку, чуть повернув её ручкой к правой руке, и на секунду задержала ладонь у его затылка — не глядя, просто проверяя, тёплый ли.

— Ты бледный.

— Я спал плохо.

— От чего?

— От того, что двадцать седьмое, — сказал Георгий с другого конца. — Волновался за меня.

Смеялись все. Смеялся отец — коротко, в бороду, не отрываясь от тарелки. Смеялся Николай, сидевший слева, — мягко, чуть невпопад, как человек, который слышал только вторую половину.

А Миша сидел и понимал, что у него нет подарка.

Это была совершенно детская, позорная, ледяная паника, и она накрыла его целиком: у всех есть, у него нет, он не знал, он не мог знать, и объяснить это невозможно, потому что тринадцатилетний брат, забывший про день рождения, — это не оправдание, это приговор на месяц вперёд.

Сзади что-то тронуло его руку.

Проход стоял у двери, где ему и полагалось стоять, и держался так, будто ничего не делал. Между тем в ладони у Миши оказался маленький свёрток в синей бумаге, перевязанный ниткой.

Он не имел ни малейшего понятия, что там внутри.

— Гоша, — сказал он и протянул через стол.

Георгий развернул.

Ножик. Складной, в шесть лезвий, с костяной накладкой — тот честный мальчишеский ножик, который выбирают долго, придирчиво и обязательно с лишними лезвиями, потому что лишние лезвия и есть главное.

— О, — сказал Георгий.

Он раскрыл его, потрогал ногтем каждое лезвие по очереди, и лицо у него стало на секунду совсем не двадцатиоднолетнее.

— Хорош. — Он сложил его и убрал в карман. — Буду им твои письма вскрывать. Ты ведь будешь писать?

— Буду.

— Так все говорят.

— Я буду, — сказал Миша, и вышло это серьёзнее, чем требовалось за завтраком.

Георгий посмотрел на него ещё раз, тем же быстрым читающим взглядом, и ничего не сказал.

Дальше был обыкновенный шум.

Ольга получила выговор за локти на столе и немедленно поставила их обратно. Ксения объясняла, что тётя Ольга Константиновна написала из Афин что-то ужасно неприличное, и мама говорила, что это неправда, и было видно, что правда. Николай что-то спросил у отца про смотр, отец ответил односложно. У Николая через девять дней тоже был день рождения, и Ксения уже требовала знать, что ему дарить, а Николай отвечал, что ему ничего не нужно, и это была чистая правда, и от этого Ксения сердилась.

Миша смотрел на отца.

Он смотрел уже долго — так долго, что успел заметить, как отец держит чашку: всей ладонью, снизу, будто она может убежать. Как берёт хлеб. Как двигает плечом, когда собирается сказать что-нибудь неприятное.

Ничего в этом человеке не было неправильного.

Вот что оказалось хуже всего. Он готовился — по дороге сюда, по коридору, всю лестницу — к тому, что увидит больного. Он знал диагноз, знал год, знал месяц. Он приготовился увидеть человека, у которого это уже началось.

За столом сидел здоровенный сорокасемилетний мужик, который ел кашу и был раздражён какой-то бумагой.

— Почему ты так на папá смотришь?

Ольга спросила громко и с полным ртом, и стол замолчал.

Все повернулись.

— Я считал, — сказал Миша.

— Что считал?

— Сколько у папá в бороде седых.

Отец поднял голову.

— Ну и сколько?

— Сбился.

Ксения фыркнула в салфетку. Георгий засмеялся и закашлялся, и мама посмотрела на него раньше, чем засмеялась сама.

— Считай снова, — сказал отец и вернулся к тарелке. — У меня их с каждой такой бумагой прибывает.

И положил ладонь на сложенный вдвое лист.

— В четверг проводишь Гошу до станции, — сказал он через минуту, ни к кому в особенности не обращаясь, и Миша не сразу понял, что это к нему.

— Я?

— Ты. Ники занят, Ксения проспит.

— Я не просплю!

— Проспишь, — сказал отец. — Ты и сегодня проспала, просто спустилась раньше Миши.

Ольга под столом двинула ногой и попала Мише в щиколотку. Мама передала масло. Пахло кашей, чаем и мокрым сукном от того, кто входил со двора.

И на две или три минуты он перестал быть человеком, который знает, чем всё кончится.

* * *

— На, — сказал отец. — Ты у нас грамотный. Читай.

Бумага проехала по скатерти и остановилась у его тарелки.

Это было сказано в шутку — тем ворчливым тоном, каким сообщают, что от начальства и от погоды толку не будет. Ксения даже не подняла головы.

Миша развернул лист.

Месячная сводка Особого комитета о положении в губерниях, пострадавших от неурожая. Апрель тысяча восемьсот девяносто второго года.

Отправлено. Устроено. Роздано. Отсрочено.

Он читал, и десять секунд ничего не происходило, а на одиннадцатой в нём включилось то, что включалось само и выключить его было нельзя.

Три губернии подряд. Три разных губернатора, три разные канцелярии, тысяча вёрст между первой и третьей.

Одни и те же обороты.

Не похожие — одни и те же. «Положение не внушает опасений». «Меры принимаются с должной успешностью». В третьей губернии кто-то поленился даже переставить слова.

Дальше числа.

Пудов отправлено — круглое. Столовых устроено — круглое. Ссуд выдано — круглое. За месяц, по двенадцати уездам, из четырёх складов, силами разных людей, в распутицу.

Круглое.

И везде, во всех строках, на всех страницах — «отправлено».

Он перечитал ещё раз, медленнее, ища глазами одно слово, и не нашёл его нигде.

— Ники.

Николай оторвался от своего.

— Что?

— Тут написано «отправлено». — Миша повернул лист. — А где написано «получено»?

Николай наклонился, посмотрел, куда указывал палец, и ответил спокойно и обстоятельно, как отвечают младшему брату, который задал дельный вопрос не по делу.

— Это отчёт об отправке. Раздача идёт отдельно, из земств, ведомость приходит к концу месяца.

— И они сходятся?

Николай открыл рот.

Потом закрыл.

Это была очень короткая пауза, полсекунды, не больше, и никто за столом её не заметил — Ксения спорила с Ольгой, мама что-то говорила про четверг, отец тянулся за хлебом.

— Я не сличал, — сказал Николай.

Он сказал это ровно, без всякой обороны, потому что ему нечего было оборонять. Он был честный человек. Он получал двадцать губерний, сводил присланное и не имел ни малейшего основания подозревать двадцать взрослых людей, назначенных его отцом, в том, что они пишут ему сказки.

— Их много, Миша, — прибавил он мягко, будто извиняясь за размер страны. — Это же не один уезд.

— Да, — сказал Миша. — Конечно.

Он опустил глаза в бумагу.

Ни одной даты фактической выдачи. Ни одного имени принявшего. Ни единой цифры, которая пришла бы не от того же самого человека, который за неё отвечает.

Двенадцать уездов. Апрель, распутица, реки идут, дороги стоят. Хлеб, который отправили из Козлова, физически не мог доехать туда, куда его отправили, за те дни, которые тут указаны, и это не заговор, это география.

И всё-таки — «положение не внушает опасений».

Он не мог доказать ни строчки.

Это было хуже всего и это он понимал совершенно ясно. У него не было ни второго источника, ни права запросить, ни человека на месте, ни даже собственных карманных денег в разумном количестве. Если он сейчас скажет вслух то, что видит, это будет не открытие, а мальчик за завтраком, объясняющий наследнику престола, что тот плохо читает свои бумаги.

— Тебе это зачем? — спросил отец.

Он смотрел на него из-под бровей. Не сердито. С тем неудобным вниманием, с каким смотрят на человека, который сделал что-то не по возрасту.

— Скучное, — сказал отец. — Я его третий раз читаю и всё скучное. И всё у них хорошо. Второй месяц всё хорошо. У меня тут в апреле снег лежал, а у них хорошо.

Миша сложил лист по прежнему сгибу и подвинул обратно.

— Я цифры смотрел, — сказал он. — Красиво напечатано.

— Красиво, — согласился отец.

Он накрыл сводку ладонью и придвинул к себе, и на этом разговор кончился, потому что Ольга уронила ложку, а мама объявила, что в четверг на станцию поедут все и никаких обсуждений не будет.

Миша допил чай.

Он вышел из столовой последним и пошёл обратно по низкому коридору, мимо столика с неразнесёнными газетами, и всю дорогу в голове у него составлялся список.

Цена ржи по уездам за три месяца. Ведомости о движении грузов. Приходские записи. Земские врачи. Кто-нибудь на месте, кто не подчиняется губернатору. Хоть один человек, хоть один документ, пришедший не по той же трубе.

Список получался короткий и совершенно неисполнимый.

Ему было тринадцать лет, у него не было ни рубля собственных денег, ни права запросить хотя бы волостное правление, ни одного человека, которому он мог бы объяснить, что именно ему не нравится.

А не нравилось ему одно.

Цифры были слишком хороши.

Глава 2

Снег, о котором отец говорил в понедельник, в четверг ещё лежал — узкой серой полосой в тени забора, там, куда не доставало солнце.

На платформе было холодно и ветрено, и ветер шёл вдоль путей ровно, без порывов, так что стоять приходилось боком.

Отец не приехал.

— Папá не ездит на вокзалы, — сказала мама, поправляя на Георгии шарф, которого он не просил.

— Папá не ездит на вокзалы с восемьдесят восьмого, — сказал Георгий.

Мама сделала вид, что не услышала, и переложила шарф иначе.

Провожали вчетвером: мама, Ксения, Ольга и он. Публику держали в стороне, у здания, и оттуда смотрели — не назойливо, а как смотрят на погоду. Вагон стоял третьим от паровоза, отдельный, и вокруг него уже происходила та бессмысленная суeta, которая всегда происходит вокруг человека, отъезжающего надолго: носили, считали, переносили обратно, спрашивали, не забыли ли, и забывали.

Георгий стоял среди этого в распахнутом пальто и мёрз.

— Застегнись, — сказала мама.

— Мне жарко.

— Тебе не жарко.

— Мне жарко, мамá, я взрослый, мне двадцать один, я сам знаю, жарко мне или нет.

Он застегнулся.

Ольга висела у него на руке и требовала привезти ей что-нибудь живое, желательно с Кавказа и желательно кусающееся. Ксения объясняла, что живое в вагоне сдохнет, Ольга говорила, что не сдохнет, если хорошее.

Миша стоял чуть в стороне и смотрел на доктора.

Доктор был при Георгии — немолодой, в тёплом, с саквояжем, который он не выпускал из рук, потому что носильщикам такого не отдают. Мама подошла к нему, когда посадка уже началась, и спросила негромко, тем особенным тоном, каким матери спрашивают о том, о чём боятся спрашивать.

— Как он?

— Их высочество в состоянии вполне удовлетворительном, — сказал доктор. — Значительно лучше, чем осенью.

Мама кивнула и отошла успокоенная.

— На сколько лучше? — спросил Миша.

Доктор посмотрел на него сверху вниз, доброжелательно и совершенно непонимающе.

— Что, простите?

— Насколько лучше, чем осенью. Осенью было столько-то, а сейчас столько-то. На сколько?

— Ваше высочество, — сказал доктор мягко, — это не так меряется.

— А как это меряется?

— Опытом, — сказал доктор. — Наблюдением. Общим впечатлением.

Он говорил вежливо, без всякого раздражения, и был при этом абсолютно уверен в своей правоте, потому что за тридцать лет практики ему ни разу не пришлось в голову, что бывает иначе.

Миша отошёл.

Он стоял на ветру и очень отчётливо, впервые с понедельника, понимал что-то полезное.

Медицины здесь хватало. Доктора были, лекарства были, деньги были, Кавказ был, горный воздух был. Не было записи. Не было ни одной строки, к которой можно вернуться через год и сказать: вот тогда, вот теперь, вот разница. «Значительно лучше, чем осенью» — это не сведение. Это утешение, оформленное как сведение, и мама только что унесла его с собой и будет им греться до следующего письма.

А через семь лет всё кончится, и никто не сможет назвать месяц, в котором стало хуже.

— Мишка.

Георгий стоял на подножке, одной рукой держась за поручень.

— Иди сюда.

Миша подошёл.

— Ты в понедельник за завтраком смотрел на папá, — сказал Георгий негромко, — как будто прощался.

Ветер тянул вдоль состава.

— Я не прощался.

— Я тоже так подумал. — Георгий помолчал. — Потом подумал ещё раз.

Он вынул из кармана ножик, повертел его в пальцах и убрал обратно.

— Пиши мне, — сказал он. — Не про здоровье. Про дом. Кто с кем поссорился, что Ольга разбила, чем папá недоволен. Про здоровье мне и так все пишут, и все врут одинаково.

— Буду.

— Так все говорят, — сказал Георгий и полез в вагон.

Поезд ушёл в двадцать пять минут двенадцатого, и мама плакала ровно четыре секунды, а потом велела всем идти к экипажам, потому что холодно.

* * *

Он ждал два дня и взялся за это в субботу, после чая, в отцовском кабинете.

Кабинет был тесный и заваленный. Стол у окна, на столе три стопки бумаг разной степени неприятности, кресло, продавленное под одного человека, и запах табака, впитавшийся в стены раньше, чем родился Миша. Отец сидел в халате и подписывал что-то, не читая, — не от небрежности, а потому что это была четвёртая сотня за неделю и все они были об одном.

Мама сидела с рукоделием, в котором не продвинулась за полчаса ни на стежок.

— Папá, я хотел спросить.

— Спрашивай.

— Почему у лошадей есть записи, а у нас нет?

Отец поднял голову.

— Чего?

— В конюшне на каждую лошадь заведена карточка. Промеры, вес, что ела, чем болела, кто смотрел и когда. Каждый год пишут заново, и старое не выкидывают. — Миша говорил ровно, как заранее решил. — А про нас ничего не пишут.

— Про вас, — сказал отец, — пишут в газетах. Больше, чем надо.

— Я не про газеты. Я про то, что если Гошу спросить, лучше ему или хуже, чем в ноябре, никто не ответит. Доктор на вокзале сказал «значительно лучше». Я спросил — на сколько. Он не понял вопроса.

Отец отложил перо.

Он смотрел на сына с тем самым неудобным вниманием, что и в понедельник, и Миша заставил себя не отводить глаз.

— И что ты предлагаешь? — спросил отец. — Чтобы нас всех каждый год шупали?

— Чтобы каждый год записывали. Одно и то же, в один и тот же месяц, одним и тем же порядком. Рост, вес, что болело, сколько дней лежал. И чтобы прошлогоднее лежало рядом.

— Как в полку, — сказал отец.

— Как в полку.

Отец фыркнул.

— В полку это делают для того, чтобы знать, кого списать.

— В полку это делают для того, чтобы знать, когда человек начал слабеть, — сказал Миша. — А не когда он уже упал.

Мама подняла голову от рукоделия.

— Саша.

— Что «Саша»?

— Он прав.

— Он мальчишка, который начитался.

— Он прав, — повторила мама. — Если бы у нас были записи с восемьдесят девятого года, я бы сейчас знала, что мне отвечать, когда мне говорят «значительно лучше».

Она сказала это спокойно и не глядя на мужа, и в комнате на секунду стало очень тихо. Отец потёр бороду.

— Ну, — сказал он. — Ладно.

Он сказал «ладно» тем тоном, каким уступают не доводу, а жене, и Миша понял, что выиграл, и обрадовался.

Вызвали лейб-медика. Лейб-медик был стар, суховат и выслушал изложение мальчика с лицом человека, которому объясняют устройство его собственного дома. Потом, впрочем, задал два дельных вопроса, из чего Миша заключил, что старик умнее, чем показывает.

— Составьте список, — сказал отец. — Кого, когда, что писать. И чтобы без цирка. Никаких консилиумов, никаких немцев, ничего этого я в доме не потерплю.

— Разумеется, ваше величество.

— И меня в свои списки не пишите.

— Папа...

— Меня, — сказал отец с удовольствием, — мерить нечего. Я и так весь на виду.

Он развёл руками, показывая, до какой степени он весь на виду, и мама засмеялась, и Ксения, заглянувшая в дверь, спросила, над чем смеются, и стало шумно, и разговор кончился.

Лейб-медик записал на листке пять имён.

Миша ушёл довольный. У него получилось с первого раза, без скандала, за один вечер, и он думал по дороге, что взрослые в этом веке гораздо сговорчивее, чем принято считать.

Он не пересчитал имена в списке.

* * *

Агафья Тихоновна принесла чай в понедельник вечером, поставила стакан и не ушла. Она стояла у стола, комкая передник, и Миша, поднявший на неё глаза, сначала подумал, что случилось что-то с Ольгой.

— Что?

— Ваше высочество, — сказала Агафья. — Я вам письмо принесла.

Она достала его из-под передника — сложенный вчетверо лист серой бумаги, обтёршийся на сгибах до дыр.

— От племянницы. От Прасковьи. Гущина она по мужу, в Сычёвке живёт, Козловского уезда.

— Давно?

— Третье. — Агафья смотрела в стол. — С февраля пишет.

— И вы молчали?

— А что говорить-то. — Она пожала плечами. — Просить стыдно.

Миша развернул лист.

Читать было трудно. Не почерк — почерк как раз был хороший, ровный, учительский. Трудно было другое.

«Милая тётя Агафья Тихоновна, кланяюсь вам и сообщаю, что живём мы плохо».

Дальше шло, как живут.

Ржи не осталось с осени. Хлеб пекут с мякиной, а у кого нет и мякины, тот с лебедой. Ссыпной магазин пустой — ссыпали в него в позапрошлом году и с тех пор не ссыпали. Корову свели ещё в январе. Муж ушёл в Козлов на заработки в марте, к севу не вернулся и не пишет, и жив ли, неизвестно.

Фельдшер уехал в город и не вернулся.

Ссуда объявлена. Выдают по спискам. Списки составляет волостной писарь.

«В список нас не внесли, по каковой причине, нам неизвестно».

Миша остановился на этой строке.

Он перечитал письмо с начала, теперь уже иначе, и увидел то, что просмотрел с первого раза.

Письмо было написано двумя людьми.

Первая половина шла бабьим голосом: живём плохо, корову свели, мужа нет. А потом, ближе к середине, речь выпрямлялась. Появлялись «по каковой причине», «ссыпной магазин», «недоимка отсрочена, однако взыскивается». Тридцатичетырёхлетняя баба, не умеющая читать, не говорит «недоимка отсрочена, однако взыскивается». Так говорит человек, который сидел на волостном сходе и слушал, что там читали вслух.

За Прасковью писал кто-то грамотный. И этот кто-то, диктуя, вставлял в письмо не только её слова.

Значит, в Сычёвке есть человек, который знает, как всё устроено.

— Вы читали? — спросил Миша.

— Мне читали. Горничная. — Агафья помолчала. — И ещё Ольга Александровна читали. По складам.

Миша поднял голову.

— Ольга?

— Она сама взяла. Я не давала. — Агафья наконец посмотрела на него. — Она до половины дочла и спрашивает: тётя Агафья, а что такое мякина. Я говорю — солома, барышня, шелуха от зерна. А она говорит: а зачем её едят.

Миша молчал.

— Я ей сказала — от бедности. — Агафья опять уставилась в стол. — А про то место, где написано, что двое померли, я ей не дала дочитать.

В комнате было тепло. Стакан на столе остывал.

— Агафья Тихоновна, — сказал Миша. — По отчёту в Козловском уезде ссуда выдана полностью. Ещё в марте.

Она подняла брови.

— Кем выдана?

— Так написано в бумаге. Которую читает государь.

Агафья долго это обдумывала.

— Ну, — сказала она наконец. — Стало быть, они от сытости мякину жуют.

Она сказала это без злобы и без иронии, просто сложив одно с другим, как складывают счёт за керосин, и от этого стало нехорошо.

— Вы пошлите им денег, ваше высочество, — прибавила она. — Хоть сколько. Я бы сама, да у меня тридцать два рубля всего, я послала уже двенадцать в марте, а дошло ли, не пишут.

Миша встал и подошёл к бюро.

Денег у него было немного. Великому князю тринадцати лет от роду денег на руки не давали — давали на мелкие расходы, и мелкие расходы копились в верхнем ящике вперемешку с перьями. Он сосчитал: сорок один рубль с копейками.

Он отдал всё.

И, отдавая, знал совершенно точно, что делает единственную бесполезную вещь из всех возможных. Хлеб в уезд уже отправили. Ссуду в уезд уже выдали. По бумаге туда ушло столько, что сорок один рубль не виден даже в десятом знаке. Деньги там были. Деньги там, судя по всему, и остались — просто не у Прасковьи Гущиной.

Он это понимал и всё равно отдал, потому что объяснить это женщине, у которой племянница третий месяц ест лебеду, было нельзя.

— Прохор Саввич отправит, — сказал он. — Скажите ему, что я велел.

Агафья поклонилась и пошла к двери.

— Агафья Тихоновна.

— Что, батюшка?

— Кто ей пишет письма?

Агафья задумалась.

— Учительша, — сказала она. — При школе там девушка живёт, из городских. Прасковья писала осенью, что учительша всем пишет, кто попросит, и денег не берёт.

Прохор, забиравший поднос, выслушал поручение молча.

— Дойдёт? — спросил Миша.

— Дойдёт, ваше высочество, — сказал Прохор. — Половина дойдёт.

* * *

Аркадия он нашёл на другой день, в буфетной, и увёл в коридор, потому что при других разговаривать не хотел.

Аркадию было пятнадцать или шестнадцать — точно он не знал, а спрашивать было поздно. Рыжеватый, быстрый, с той особенной лакейской ловкостью, которая на самом деле есть просто ум, которому не дали другого применения.

— Мне нужны газеты, — сказал Миша.

— Какие изволите? Я к утру принесу, у Николая Петровича всё есть.

— Не эти. Мне нужны тамбовские. Губернские ведомости и какие там есть частные. За февраль, март и апрель, все номера.

Аркадий моргнул.

— Тамбовские, — повторил он.

— И справочные цены на рожь. По Козловскому уезду и по трём соседним, за те же месяцы. Там их печатают, в этих же газетах, мелким шрифтом, в конце.

— Так.

— И ещё. — Миша помолчал, потому что тут начиналось то, чего он сам ещё не понимал.

— Про вагоны. Что отправлено в Козлов, когда пришло, когда разгрузили. Если такое где-нибудь пишут.

Аркадий поднял глаза к потолку и что-то там посчитал.

— Официально, — сказал он, — это через канцелярию. Недели три. И спросят, зачем.

— А неофициально?

— К ужину поставить или завтра утром?

Миша посмотрел на него.

— Что тебе за это нужно?

— Три рубля.

— Себе?

— Мне двугривенный, — сказал Аркадий с достоинством. — Остальное телеграфисту на станции и человеку при конторе. Даром никто не работает, ваше высочество, а если даром работает, то и врёт даром.

Миша дал три рубля.

Аркадий спрятал их и не ушёл.

— И ещё одно, — сказал он.

— Ну?

— Если из этого выйдет настоящее дело, — Аркадий смотрел прямо, без всякой лакейской повадки, — вы меня обратно в буфетную не задвиньте. Я не прошу вперёд. Я прошу — если выйдет.

— Выйдет — не задвину.

— Записать бы, — сказал Аркадий.

— Я помню лучше, чем записываю.

— Все так говорят, — сказал Аркадий, и Миша впервые за неделю засмеялся по-настоящему.

Проходивший из-за поворота, увидел, как лакей выходит от великого князя, пряча деньги, и остановился.

Он ничего не сказал. Он просто постоял, посмотрел вслед Аркадию, потом на Мишу, и в лице у него отразилось спокойное понимание того, что дом, который он выстраивал пятнадцать лет, начал разрушаться и что произойдёт это быстро.

Газеты легли на стол в среду вечером. Стопкой в ладонь толщиной, пахнувшие типографией и чужим домом.

Миша разложил их по числам и взялся за последние страницы, где мелким шрифтом, между объявлениями о продаже лошадей и оповещениями о торгах, печатались справочные цены.

Рожь, за пуд, по Козлову.

Февраль — рубль пять. Март — рубль двенадцать. Первая неделя апреля — рубль двадцать. Третья неделя апреля — рубль тридцать пять.

Он выписал это на отдельный лист. Потом нашёл соседние уезды.

Липецкий — рубль пятнадцать. Лебединский — рубль восемнадцать. Усманский — рубль десять.

Он смотрел на четыре числа и чувствовал знакомое, почти забытое за эти дни ощущение — то самое, ради которого он двадцать лет ходил на работу.

Цифры начали разговаривать.

Он взял чистый лист и попробовал восстановить по памяти сводку, которую отец забрал в понедельник. Получилось скверно. Он помнил обороты, помнил, что числа были круглые, но не помнил, какие именно, и злился на себя так, что чуть не порвал лист. Двадцать лет он объяснял людям, что память — не источник. И вот сидит и восстанавливает документ по памяти, потому что другого способа нет.

Всё равно хватило.

По сводке в Козловский уезд хлеб отправлен ещё в марте. По сводке ссуда выдана. По сводке положение не внушает опасений.

А по газете, которую печатают в том же Тамбове и которую читают те же самые люди, рожь в Козлове за два месяца подорожала на треть и дороже, чем в трёх соседних уездах.

Миша встал и прошёлся по комнате.

Он проговорил это вслух, тихо, для себя, потому что вслух проверяется лучше.

— Если хлеб пришёл, цена падает. Всегда. Пришло много — упала сильно, пришло мало — упала слабо, но упала. Цена растёт третий месяц. Значит, хлеб не пришёл. Или пришёл и лежит.

Он остановился у окна.

Газета не знает про сводку. Сводка не знает про газету. Ни та, ни другая не врут ему нарочно — они врут в разные стороны, и как раз поэтому между ними что-то видно.

А нужен третий. Такой, которому всё равно.

Дверь распахнулась без стука.

— Миша! Миша, идём, скорее!

Ольга стояла на пороге, в наспех накинутом, растрёпанная, с совершенно безумным лицом.

— Что случилось?

— Жеребёнок! У Забавы! Ночью! Ксения не идёт, она дура, она говорит холодно! Идём!

— Ольга, я занят.

— Ты не занят, ты бумажки перекладываешь!

Это было настолько точно, что возразить оказалось нечего.

Он пошёл.

Жеребёнок был рыжий, на длинных дрожащих ногах, и смотрел на всех подряд с выражением полного изумления. Ольга шёпотом объясняла, что назовёт его Кавказом, потому что Гоша уехал на Кавказ. В конюшне пахло тёплым, и было хорошо, и в течение получаса он ни разу не вспомнил ни про рожь, ни про Козлов.

Аркадий поймал его на обратном пути, у бокового крыльца.

— Ваше высочество. Про вагоны.

Он протянул листок, исписанный чужим корявым почерком.

— Пришло восемь вагонов. Двадцать девятого марта. Стоят на путях, в тупике за пакугаузом.

— Как стоят?

— Так. — Аркадий пожал плечами. — Неразгруженные. Третью неделю.

Глава 3

Он просидел над этим две ночи и к утру второй был совершенно счастлив.

На столе лежал лист, разграфлённый в три столбца. Слева — то, что говорила бумага. В середине — то, что говорило письмо. Справа — то, что говорили цена и вагоны.

Бумага говорила: отправлено, роздано, положение не внушает опасений.

Письмо говорило: мякина, лебеда, пустой сыпной магазин, списки у волостного писаря.

Цена говорила своё, безучастно и коротко: рубль пять, рубль двенадцать, рубль двадцать, рубль тридцать пять.

Внизу он вывел разницу.

Разница получилась в четыре с лишним раза, и от этого числа делалось жарко. Он проверил дважды, оба раза сошлось, и он сидел над листом в половине шестого утра, слушая, как за окном начинают возиться на конюшне, и чувствовал себя человеком, который в одиночку, за две ночи, чужой рукой и без единого законного полномочия достал со дна то, что двадцать взрослых губернаторов утопили.

Потом он положил лист и подумал ещё раз.

Показать это отцу означало одно из двух. Либо отец не поверит — и правильно сделает, потому что за листом стоит тринадцатилетний мальчик, лакей и подшивка провинциальных газет. Либо отец поверит.

Второе было хуже.

Он видел это в другой жизни столько раз, что перестал считать: человек приносит начальству красивую разницу, начальство приходит в ярость, летят головы, а через месяц выясняется, что в третьем столбце путаница в единицах и вся разница — арифметическая. Головы обратно не приставляют. Тому, кто принёс, тоже не приставляют.

Значит, сначала его должен проверить кто-то, кому наплевать, чей он сын.

Он знал одно имя.

Он не мог объяснить, откуда знает, и это было отдельное, довольно скверное чувство — держать в голове имя человека, о котором тринадцатилетний Михаил Александрович не мог слышать нигде и никогда. Имя лежало в памяти вместе с фотографией, с бородой, с чем-то про Тянь-Шань и с чем-то про статистику, и разделить, что оттуда, а что придумалось за две бессонные ночи, было уже нельзя.

Оставалось выяснить, существует ли этот человек в мае тысяча восемьсот девяносто второго года и как к нему попасть.

Второе оказалось проще первого.

* * *

Николай собирался на смотр и был в том рассеянно-хорошем настроении, в каком человек, которому через два дня двадцать четыре, надевает мундир и заранее знает, что день пройдёт прилично.

— Семёнов? — переспросил он, поворачиваясь к зеркалу. — Пётр Петрович? Ты откуда его взял?

— Слышал.

— Где?

— Не помню.

Николай посмотрел на него в отражении и засмеялся.

— Ты, Мишка, вообще странный стал. — Он поправил португезу. — Зачем он тебе?

Миша приготовил ответ заранее и всё равно сказал не совсем то, что готовил.

— Хочу понять, как считают.

— Что считают?

— Всё. Урожай, людей, хлеб. Кто-то же это считает.

— Считает, — согласился Николай. — И считает, надо сказать, ужасно.

Он сказал это без всякой задней мысли, весело, как повторяют чужую остроту, и отвернулся от зеркала.

— Хорошо. Я напишу ему записку. Он старик заслуженный, у него в комитете голос, ему не откажешь. — Николай подумал. — Только он тебя, брат, за полчаса вылечит от цифр. Он всех вылечивает. Мне в прошлом году объяснял, отчего наши урожайные сведения ничего не стоят, я вышел с головной болью и с ощущением, что зря живу.

— И что вы сделали?

— Ничего, — сказал Николай. — А что тут сделаешь?

Он спросил это просто, буднично, как спрашивают о погоде, и было совершенно ясно, что он не ждёт ответа и что ответа не существует.

Записку он написал тут же, стоя, на углу стола, крупным разгонистым почерком, и промокнул её рукавом.

* * *

Дом был на Васильевском, и в первой же комнате Мишу остановил запах.

Пахло камфарой, старым деревом и чем-то ещё, чему он не сразу нашёл название. Вдоль стен, от пола до потолка, стояли узкие шкафы с выдвижными ящиками, и один ящик был выдвинут.

В ящике под стеклом сидели жуки.

Их было несколько сотен, ряд к ряду, каждый на своей булавке, и под каждым белела крошечная бумажка, исписанная от руки. Одинаковые на первый взгляд, они переставали быть одинаковыми, стоило посмотреть подряд: тёмно-зелёные, потом чуть синее, потом почти чёрные, и весь этот переход был выложен так, чтобы его было видно.

За столом у окна сидел старик и работал.

— Пойдите там, — сказал он, не оборачиваясь. — Здесь сквозняк от двери.

Миша остановился.

Старик что-то делал с очень маленьким предметом, наклонившись близко, и руки у него не дрожали. Ему было под семьдесят, борода лежала на груди широко и лопатой, и в целом он выглядел ровно так, как выглядят на портретах люди, о которых через сто лет пишут в учебниках, и это сходство было почему-то неприятно.

— Записку я прочёл, — сказал старик. — Садитесь. Я через минуту.

Минута длилась четыре.

— Теперь давайте, — сказал Пётр Петрович Семёнов и наконец повернулся. — Его высочество наследник пишет, что вы желаете понять, как считают. Это неправда. Так никто не желает. Что вам на самом деле нужно?

Миша достал лист и положил на стол.

Старик отодвинул от себя пинцет, придвинул лампу и стал читать.

Читал он долго. Дважды возвращался к началу. Один раз что-то отметил ногтем на полях — ногтем, не карандашом, и от этого Мише стало не по себе больше, чем от любых слов.

— Так, — сказал Семёнов. — Ну, тут всё никуда не годится.

— Где?

— Везде. — Он положил ладонь на лист. — Начнём с крупного. Вот здесь у вас уезд. А вот здесь, через два столбца, губерния. Вы сравниваете Козловский уезд за март с Тамбовской губернией за май. Получилось выразительно. Смысла в этом нет никакого.

Миша посмотрел на лист.

Это было так очевидно, что в первую секунду он просто не поверил.

— Дальше, — сказал Семёнов, не давая ему опомниться. — Здесь у вас четверти. Здесь пуды. Вы их складываете. В четверти ржи, если вам угодно знать, около девяти пудов, а овса — около шести, но какая разница, вы всё равно сложили одно с другим.

— Я...

— Дальше. Слева у вас отправлено, справа осталось. Это разные вещи, ваше высочество. Разница между ними называется дорога, и в апреле, в вашем уезде, она составляет от двух недель до бесконечности.

Он снял очки и потёр переносицу.

— Ваши четыре с лишним раза, — сказал он, — есть целиком ваша собственная работа. Вы её сами сделали, из ничего, за две ночи. Полагаю, за две.

— За две, — сказал Миша.

— Оно и видно.

В комнате было тихо. За стеклом сидели жуки.

Миша слушал себя и с некоторым удивлением обнаруживал, что не злится и не хочет оправдываться. Хотелось другого — того, чего он двадцать лет требовал от людей, которые приносили ему цифры, и чего почти никогда не получал.

— Как надо? — спросил он.

Семёнов надел очки обратно.

Он посмотрел на мальчика внимательно и в первый раз за разговор — как на человека, а не как на сегодняшнее неудобство.

— Что «как надо»?

— Как надо считать, чтобы получилось не то, что мне хочется.

Старик помолчал.

— За сорок лет, — сказал он, — мне этот вопрос задавали четыре раза. Считая ваш.

Он придвинул чистый лист.

— Запоминайте, потому что записывать вы будете плохо. Первое: одна единица. Уезд с уездом, губерния с губернией, волость с волостью, и никогда одно с другим. Второе: один срок. Март с мартом. Не март с маем, потому что в марте распутица, а в мае сев, и это две разные страны. Третье: одно определение. Если вы пишете «нуждающийся», извольте раз навсегда решить, кто это. У нас в одном уезде это тот, у кого нет хлеба, а в соседнем — тот, кого внесли в список.

Он поставил три жирные точки одну под другой.

— И четвёртое, которое дороже первых трёх. Три источника, не зависящих один от другого.

— У меня три, — сказал Миша. — Бумага, письмо и цена. Три правды.

Семёнов поморщился.

— Правда одна, ваше высочество, и она вам, скорее всего, не понравится. Источников надо три. Это разные вещи, и вы их путаете.

Он постучал пальцем по листу.

— Ваша бумага и ваше письмо, между прочим, не независимы. Бумага идёт от губернатора, а губернатору её пишет исправник, а исправнику — волостное правление. Ваше письмо жалуется на волостного писаря. Это, извольте видеть, один и тот же волостной писарь. Он у вас в обоих столбцах.

Миша молчал.

— Вот с ценой лучше, — сказал Семёнов. — Цене всё равно. Она не знает, что вы её читаете, и врать ей не для кого. Держитесь за неё.

Он откинулся на спинку.

— Только имейте в виду главное неудобство. Независимых источников в России гораздо меньше, чем кажется. Вам покажется, что вы взяли пять разных, а все пять придут из одного волостного правления, просто разными дорогами. Цифра, собранная тем, кто за неё отвечает, — не цифра. Это отзыв о себе.

— А что тогда цифра?

— Цифра — это когда считает тот, кому от результата ни жарко ни холодно, — сказал Семёнов. — Таких людей мало, служат они плохо и жалованья им не платят.

Он вдруг усмехнулся в бороду.

— Есть ещё земская статистика. Знаете?

— Нет.

— И слава богу, что не знаете, а то бы уже с ней напутали. — Он вытянул из-под бумаг тонкую книжку в серой обложке и подвинул через стол. — Тамбовское земство печатает сборники по уездам. Подворные описи, посевы, скот, недоимки. Собирают не чиновники, а нанятые счётчики, ходят по дворам сами. Врут тоже, но врут в другую сторону, и это вам как раз и нужно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.